

*Максим Гуреев*

## Сова

*Рассказ*

Долго урчал во внутренностях замка ключ, чавкал, словно блуждал там в темноте, будто бы наугад давил на клавиши пневматического музыкального орудия, что издавало звуки, выводило ноты, даже получалась некоторая складная мелодия, отдаленно напоминавшая *Ach, du lieber Augustin*, а педали при этом перемещались самостоятельно, поочередно сжимая и разжимая пружины, сжимая и разжимая их, говорю, приводя таким образом ригель в движение.

Наконец, дверь открылась.

Вернее, ее открыл Сова, который при виде меня как-то чудно скривился и затворил лицо ладонями.

— Опять ячмень, что ли? — спросил я.

Он закивал головой, раздвинул указательный и средний пальцы на обеих руках, выглянул из образовавшихся щелей, но тут же и зажмурился. Спрятался таким несуразным, одному ему ведомым образом за кое-как сколоченным из горбыля забором...

Так уж повелось, что ячмень всякий раз мы лечили спитым чаем, прикладывали его к нарыву, а когда чай высыхал и превращался в россыпь дохлой мошкары, при помощи намотанной на чайную ложку марли его приходилось счищать с подбородка, утирать ввалившиеся щеки. А потом еще из ваты изготавливали тампоны, чтобы промокать ими распухшее веко.

— Видишь чего-нибудь?

— Нет, не вижу.

— А ну, дай! — снова по щекам и подбородку начинала струиться теплая заварка, и дохлая мошкара сразу же оживала, а Сова принимался извиваться, словно ему было больно. — Не ври, не больно тебе нисколечко.

— Я боюсь, что вдруг мне станет больно, а я к этому не буду готов.

— Да не будет больно, я тебе говорю.

---

*Гуреев Максим Александрович* родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссер документального кино, снял более семидесяти лент. Автор книг и монографий. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Лауреат Премии журнала «Дружба народов». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 11.

Сова, будто рыба, ловил раскрытым ртом воздух, вываливал язык, издавал утробные звуки, давился ими.

— Ведешь себя как девчонка, противно просто!

— Всё?

— Всё! Только смотри, глаз не три!

Воровато озираясь, мальчик уходил вглубь комнаты, где за занавеской стояла его кровать, ложился и отворачивался лицом к стене, чтобы там, где его никто не видит, трогать заплывшее веко, вздрагивать от этих прикосновений и мычать.

И, действительно, этого никто не мог видеть, но мычание выдавало его.

— Перестань, я тебе говорю, не выздоровеешь тогда. Еще и ослепнешь не дай бог на один глаз, станешь одноглазым...

«Как циклоп», — тут же приходило мне в голову, рождалось из последовательности слов, аллюзий, разрозненных воспоминаний, однако я не произносил этого вслух. И в ответ сразу же наступала гробовая тишина, это просто Сова замирал, каменел, вытягивался в струну, складывая руки по швам и, выгибая спину, тянул носки, словно готовился нырнуть солдатиком с бетонного волнолома.

Летом на волноломе негде было яблоку упасть...

Раскаленный на солнце рябой бетон был здесь расцвечен махровыми полотенцами, полосатыми покрывалами и пятнистой в разводах одеждой.

Я, как помню, вставал на край этого волнолома, складывал руки по швам, выгибал спину, поднимался на носках, находя при этом весьма приятным судорожное гудение в ногах, отталкивался и прыгал в воду.

Падал в воду.

Все происходило мгновенно, и на размышления не оставалось времени. Да и стоило ли о чем-либо думать перед тем, как окажешься на глубине, где заросли водорослей цвета перламутрового мха шевелились, веяли, двигались, будто волосы на голове.

Сова всегда боялся стричься, эта процедура вызывала у него панику и слезы.

Его усаживали на доску, пристроенную на подлокотниках массивного кресла, обитого дерматином, оборачивали простыней до пола, оставляя на вершине этого причудливого сооружения, напоминавшего форму для творожной пасхи, лишь вихрастую взлохмаченную голову, включали электрическую лампочку над зеркалом.

— Ну-с, молодой человек, как будем стричь? Бокс? Полубокс? Модельная? — спрашивал парикмахер в белом халате, и Сова почти сразу начинал плакать, потому что он представлял, как из включенной машинки для стрижки волос сыплются в разные стороны искры-стрелы, секут его до крови, прокалывают, вызывая судороги.

Впрочем, все это ему мерещилось, чудилось, потому что никаких искр быть не могло, ведь машинка работала исправно, и все у парикмахера получалось очень даже ладно.

Свое прозвище Сова получил в интернате, куда его перевели после второго класса обычной школы, когда выяснилось, что он страдает задержкой в развитии, а еще умеет поворачивать голову назад и смотреть в лицо тому, кто стоит у него за спиной. Этим свойством, как известно, обладают совы и филины. Сначала его все боялись. Конечно, есть тут от чего испугаться, ведь он мог даже и спать подобным образом, и подкрасться к нему незаметно, чтобы вымазать лицо зубной пастой, например, не было никакой возможности. Тем более что спал он с открытыми глазами. Но потом к этим его странностям привыкли и оставили в покое.

— Сова, а Сова, погукай!

— Сам погукай...

На зимние каникулы Сову отпускали домой.

Я его забирал и вез на автобусе.

Он любил садиться у окна, прогревать пальцем в инее глазок и смотреть в него. Что он там мог видеть, одному ему было известно — впотымах, в сумерках, в отражениях, посреди острых теней, бивших по глазам наотмашь.

Останавливался Сова у меня, так как его мать, моя двоюродная сестра — Вера Пономарёва, пропала без вести пять лет тому назад: уехала в райцентр, и больше ее никто не видел. Искали, конечно, но безрезультатно. Ходили слухи, что она сбежала, узнав, что ее сын болен, а точнее сказать, что он не такой, как все дети.

И вот теперь мальчик лежал у себя за занавеской на кровати, крепко жмурился, отчего мог наблюдать вспышки-молнии, вылетающие сквозь прорехи в на скорую руку сколоченном из фанерных листов ограждении.

Сквозь пальцы.

Сквозь ресницы.

Сквозь неплотно стоящие в шкафу книги.

Сквозь посуду на подоконнике.

Сквозь дырки в потолке, которые образовывались, если натянуть на лицо эмалированный дуршлаг, что висит на гвозде у рукомойника.

Заплывшее веко чесалось и дергалось.

Я вышел из комнаты, прошел по коридору на кухню, включил свет и поставил чайник на огонь.

Запел он своим высоким голосом довольно быстро, так как воды в нем оказалось мало.

А ведь всегда любил Сова прислушиваться к дудению кипящего чайника, любил закрывать уши ладонями, но истошный вой пара в свистке не утихал, пробирался везде — и под одеяло, и под подушку входил, и никуда от него нельзя было скрыться от такого сиплого и наждачного.

В результате же мальчик не находил ничего лучше, как самому подвывать-подпевать чайнику в такт, при этом сразу забывая про свое заплывшее веко.

Действительно, что о нем помнить-то? Ну, поболит день-другой и перестанет, а смотреть можно и одним глазом, видя при этом очертания носа, потому что если смотреть двумя глазами сразу, то нос не попадает в поле зрения, его как бы не существует, и о его наличии можно судить, лишь ковыряясь в нем указательным пальцем.

Сова хорошо запомнил, как однажды на уроке литературы им рассказывали о человеке, нашедшем в буханке белого хлеба человеческий нос. Ужасней всего в той истории было то, что человек, сделавший это страшное открытие, был парикмахером, которых, как мы теперь уже знаем, Сова всегда боялся.

Вот он — подопечный цирюльника, завернутый в простыню, начинал упираться, сидя в кресле перед зеркалом, мотать головой, не соглашаясь с тем, что сейчас электрическая машинка для стрижки волос начнет напропалую гулять по его голове, а еще понимал, что этот нос был специально отрезан парикмахером ножницами или при помощи опасной бритвы и спрятан в хлебе, потому что кто же будет его искать в таком неподходящем месте?

Живо представлял себе, как откусывает от этой горбушки и немедленно приходит ощущение чего-то тошнотворно вязкого. Конечно, сразу признавал солоноватый, хорошо знакомый ему еще с тех времен привкус, когда он, спрятавшись ото всех под партией, извлекал из носа ссохшиеся горчичного цвета сгустки и запихивал в рот.

— Ты чем там, Пономарёв, под столом занимаешься? Ну-ка, немедленно вылезь! — разносилось громогласное, учительское, словно сошедшее с потолка, на котором головами вниз спали мухи и жуки.

— А он, Светлана Александровна, там козявки жрет!

От нестерпимой обиды слезы комом тут же застревали в горле, вставали стеной, перегородивали его так, что можно было этими самыми козявками и поперхнуться ненароком.

Сова начинал задыхаться, конечно, давиться тошнотворным солонватым духом эфедрина, что ему накануне в нос закапала медсестра, а затем из последних сил он подползал к Морозову, который его выдал, и кусал за правую ногу.

Изо всей силы кусал, как тот человек, обнаруживший в буханке белого хлеба человеческий нос.

Только тот кусал от голода, а Сова от злости.

Морозов тут же и начинал страшно орать от боли.

Все в классе вскакивали со своих мест и принимались кричать, перебивая друг друга, а Светлана Александровна лезла под стол, чтобы вытащить оттуда разбойника Пономарёва.

То, что в другом случае совершалось бы в какие-то мгновения, теперь происходило неспешно, тяжело, с трудом пробиралось внутрь головы и медленно вытекало наружу, как расплавленная канифоль или восходящее тесто.

Вот учительница схватила его за ноги, паразита такого, вот уперлась коленями в пол и порвала колготки. Вот растопырила мясистые локти:

— Вылезай немедленно, стервец!

Но не тут-то было, Сова намертво вцепился в предателя Морозова, который продолжал истошно вопить, смешно выпячивал нижнюю челюсть и вдобавок норовил ударить Пономарёва по голове, с трудом просовывая руки под стол, вертел там кулаками, но ничего из этой затеи у него не выходило толком. А Сова, отпустив, наконец, ногу одноклассника, поворачивал голову назад и смотрел не отрываясь на Светлану Александровну, которая была у него за спиной.

Взгляд при этом он имел отсутствующий и дикий.

— Немедленно прекрати! — заходила в истошном вопле учительница, сладковато пахнувшая пудрой, перепачканная мелом.

Я снял чайник с огня, налил в кружки заварку, затем кипяток и вернулся в комнату.

— Вставай, чаю попьем, — проговорил я как можно более добродушно и примирительно. — Угощу тебя пастилой.

Мальчик тут же выглянул из-за занавески. Его заплывший, перечеркнутый заваркой глаз выглядел устрашающе. Напоминал разинувшую пасть вздувшуюся рыбину, что давно беспомощно валяется на мелководье. Видимо, была выловлена кем-то или выброшена штормом и убила о бетонный волнолом. О тот самый волнолом, с которого в воду прыгали все кому не лень. Кто как: кто «солдатином», кто «бомбочкой» или «рыбкой», а кто и просто падал, превозмогая страх, закрыв глаза и ни о чем не думая.

А рыбина потом еще долго болталась на приборе. Ее пинали, конечно, таскали за хвост, закидывали на глубину, но она не тонула, всплывала, перепутанная водорослями, брюхом вверх и вновь оказывалась на мелководье под ногами.

— Вот скажи мне на милость, зачем ты тогда укусил за ногу Морозова?

В ответ последовала загадочная улыбка.

— Потому что Морозов — гад, — отвечал Сова мечтательно и запихивал пастилу в рот. — Вкусная, ой, вкусная какая...

Запивал ее небольшими глотками, потому что боялся обжечься.

— А что было потом?

— А потом Светлана Александровна вытащила меня из-под парты и хотела отвести к директору интерната, но в коридоре со мной случился припадок.

— Какой такой припадок?

— А вот такой-такой припадок, — Сова хитро прищурился и принялся качать головой наподобие китайского болвана. — Не скажу, не скажу...

— Ну и не получишь больше пастилы, — я протянул руку к тарелке, на которой были разложены пахнущие ванилью брикеты. Лицо Совы немедленно скривилось, заплывший глаз побагровел, и мальчик загнусавил по-старушечьи: «Так нечестно, нечестно...» Потом, как за занавеской у себя на кровати, он инстинктивно сложил руки по швам, выгнул спину, вытянул носки, задрал подбородок, словно собрался прыгнуть в воду и утопиться, замер в таком виде на какое-то время, совершенно превратившись в острое копьё, а затем у Совы закатились глаза, и он упал на пол. Затих, не подавая никаких признаков жизни.

Видимо, то же самое приключилось с мальчиком и тогда в коридоре по пути к директору.

При виде случившегося Светлана Александровна, разумеется, растерялась, ведь раньше ей никогда не приходилось наблюдать подобного зрелища, запричитала: «Что делать, что делать-то», — попыталась поднять мальчика с пола, но не смогла, найдя его слишком тяжелым, словно бы налившимся свинцом, словно бы набитым камнями, стала переворачивать, тормозить, но Пономарёв уподобился истукану, глаза которого были широко раскрыты, выпучены даже, и в них отражались лампы дневного освещения, прикрученные к потолку.

Я поднял мальчика и положил его на кровать.

Тут он и ожил, но произошло это только на следующее утро.

Вот такая вот история приключилась...

Кто же мог знать, что во всем окажется виновата пастила...

Всю ночь я не отходил от Совы, следил, чтобы он не перевернулся на спину, потому что в таком случае, если бы с ним припадок повторился, то он рисковал бы подавиться собственным языком.

Но, слава Богу, все прошло спокойно, — мальчик сопел и улыбался во сне.

Я присматривался к его заплывшему глазу и видел, что нарыв стал меньше, что веко дергается рефлекторно, а это значит, что заварка подействовала, и ячмень постепенно проходит.

Мышцы становились дряблыми.

На щеках проступал румянец.

Чтобы не уснуть, я стал ходить по комнате, считать шаги, смотреть в окно, за которым ветер раскачивал черные деревья, напоминавшие в темноте дырявые полотнища.

Затем, стараясь не хлопать дверью, я выходил на лестничную площадку.

Время здесь текло медленно.

Прислушивался.

Осматривался.

Крутил головой.

Вот ведь как — мысль о том, что почтовые ящики, прикрученные проволокой к перилам в нашем подъезде, напоминают замерзших птиц, которые застыли на электрических проводах и совершенно при этом уподобились нотным знакам высоковольтной табулатуры, уже давно посещала меня.

Неотступно преследовала, вынуждала беседовать с ней.

Кстати, именно по этой причине, когда я вхожу в подъезд, всякий раз стараюсь как можно быстрее пройти мимо этой вразной пронумерованной враждебной мне

колонии железных коробок, у которых дверцы вогнуты внутрь, а то и вообще оторваны.

Вырваны с корнем.

Перекорезены в форме орущих ртов и имеют вид совершенно отрешенный.

Я думаю о том, что они мне нравятся гораздо больше, чем те, которые наглухо закрыты. Дело в том, что ящики, будучи разоренными, как правило, всегда пусты и не содержат в себе ни почтовых извещений, ни писем, всякий раз приносящих тревогу. По крайней мере, в моем понимании того, какой она должна быть, вызывающая томительное беспокойство, рождающая дурные мысли, предчувствия, предзнаменования и страхи.

Тревога ожидания.

Совсем другое — запертые ящики. Одним своим видом они вызывают недоверие, волнение вызывают, которое нарастает все больше и больше, ведь запечатанный бумажный пакет днями таится за металлической дверцей с круглыми отверстиями, в которые можно просовывать пальцы, чтобы убеждать себя в том, что в ящике его нет.

Однако он там есть.

«Итак, ни в коем случае нельзя смотреть в сторону почтовых ящиков», — это я для себя уже точно решил.

Также не следует произносить вслух имя отправителя письма, чтобы тем самым не навлечь на себя его гнев, ведь созданное им послание, скорее всего, уже давно томится в железной коробке безо всякой надежды быть извлеченным из нее и прочитанным.

А еще нельзя вынимать из кармана ключ от почтового ящика.

Однажды я даже специально его выбросил, чтобы не возникало соблазна им воспользоваться.

Вышел на берег реки, огляделся по сторонам и забросил ключ далеко в воду, правда, потом мне пришлось говорить неправду, выдумывать, что якобы я нечаянно его потерял, выронил, а где, и сам не помню.

«Все ключи уже давно лежат на дне морском», — я хорошо запомнил эти слова корейца из металлоремонта, после которых почувствовал себя нехорошо, озноб прошел по всему моему телу, тут же как-то замутило, а тошнота горячим варевом подступила к ротоглотке. Только и осталось, что сощуриться, заупрямиться внутренне, замотать головой, словно бы говоря себе: «Нет! Нельзя быть до такой степени мнительным, чтобы каждый раз, ощущая терпкий запах яблочного уксуса, а также спонтанно возникающие в области лобных пазух спазмы, начинать думать о том, что произошел скачок артериального давления».

Потом кореец протягивал мне новый замок и ключ к нему, раскачиваясь при этом на стуле, как на насесте, словно он был совой или филином.

Итак, почтовые ящики заухали мне вслед, завращали своими ушастыми головами, запереминались с одной лапы на другую, зацокали когтями по перилам лестницы.

Конечно, кореец догадался, что я выбросил ключ специально, потому что так многие поступают, когда хотят навсегда развязаться с чем-либо ненавистным, невыносимым, избавиться от всего этого, однако ничего мне не сказал, промолчал, сделал вид, что поверил, проявив тем самым свое азиатское коварство. От этого на душе у меня стало неуютно и холодно, — руки застыли, словно на ветру, окоченели и скрючились.

А ведь, кстати, вне зависимости от времени года, но зимой особенно, в нашем подъезде совершенно невозможно избавиться от колодезного дыхания черного промозглого леса, где и живут эти самые хищные птицы с желтыми глазами, одичавшие

собаки из райцентра обретаются, а еще лисицы затаиваются, чья переключка сродни скрипу деревьев, что переплелись стволами и корнями с самого своего рождения и потому знают друг о друге все: и то, что кора их изрядно рассохлась, а под ней обитают жуки-короеды, и то, что в дырах, норах и гнездовищах спрятались змеи, и то, наконец, что перепутанные проволокой ветви распухли, поскольку болеют, а некоторые из них уже и умерли давно, но не подают виду.

Я взламывал старый замок отверткой, ставил на его место новый, прилаживал ключ, и крутил его, а он блуждал там в темноте, поочередно сжимая и разжимая пружины, сжимая и разжимая их, говорю, приводя таким образом ригель в движение, наугад давил на клавиши воображаемого пневматического музыкального инструмента, который издавал звуки и даже выводил ноты.

Хотя на самом деле это я про себя пою от нечего делать:

Ах, мой милый Августин,  
Всё прошло, всё!  
Платя нет, шляпы нет,  
В грязь упал Августин.  
Ах, мой милый Августин,  
Всё прошло, всё!

После вызова лифта из машинного отделения, находящегося на чердаке, вместе с монотонным гулом запущенного электрического двигателя в шахту проваливается густо промазанный тавотом стальной трос, а навстречу ему наверх уносится собранный из бетонных шпал противовес.

Это напоминает подъем театрального занавеса, который может открыть все что угодно: засыпанную снегом до горизонта местность или кирпичную стену обнажить, комнату в коммунальной квартире или лестничную площадку на четвертом этаже явить взору.

Но это будет позже, а пока к выложенному кафелем бетонному полу лестничной площадки на первом этаже пристыковывается кабина лифта. Электрический свет здесь вспыхивает, как только ступаешь на шаткий, ходящий ходуном под ногами пол. После этого следует захлопнуть дверь и оказаться в замкнутом пространстве, нахождение в котором вполне сравнимо с нахождением в почтовом ящике неп прочитанного послания, содержание которого известно только его отправителю.

«Да, сказывается, сказывается все-таки моя эпистолофобия», — размышляю я в висащем в невесомости лифте, однако раздается треск зуммера, и кабина, как вагонетка по рельсам, начинает подниматься наверх. Мимо проплывают лестничные клетки этажей, чьи-то ботинки, стоящие у дверей, кнопки звонков. Конечно, бывали случаи, когда лифт зависал в шахте между этажами, и тогда приходилось вызывать монтера.

«Нет-нет, об этом не стоит и думать, — говорю я себе, — потому что сегодня подобные недоразумения абсолютно не предусмотрены».

Наконец лифт останавливается, и я выхожу, уже совершенно освободившись от тягостного ощущения, вызванного воспоминаниями о том, как я запихивал пальцы в круглые отверстия, прокрученные в наглухо закрытой металлической дверце, а также мимолетным наблюдением этих проклятых почтовых ящиков, потому что только что сам побывал в одном из них.

«Ну что же, — продолжаю я беседовать сам с собой, — теперь можно посмотреть в лестничный пролет, абсолютно безбоязненно бросить взгляд вниз, туда, где остались притороченные проволокой к перилам сонные желтоглазые птицы, а также совершенно позволительно запустить руку в карман и извлечь из него новый

ключ от почтового ящика». Молчу какое-то время и прибавляю: «Вот в следующий раз, когда я буду проходить мимо почтовых ящиков, обязательно остановлюсь рядом с тем, на котором выведен номер квартиры, где я живу, вставлю ключ в замок и отомкну его, а затем достану из ящика конверт. Вскрою его».

И вот, я вскрываю конверт и обнаруживаю в нем пришедшее из небытия письмо от Веры Пономаревой, она сообщает, что никуда не убежала, что помнит и любит своего мальчика, что тогда, пять лет назад, она уехала в райцентр, но по дороге на станцию ее насмерть сбил рейсовый автобус, водитель которого оттащил ее тело в лес, где оно и лежит до сих пор.

«В лесу холодно, — как я уже говорил. — Очень холодно и сыро».

Тут птицы свесились с деревьев головами вниз.

Они любопытствуют и недоумевают, что в такое ненастье здесь может делать человек, изо рта у которого не идет пар. Ведь они-то привыкли, что всякий раз у человека, пробирающегося через чащу поздней осенью или зимой изо рта всегда валит пар, а тут нет — лежит себе тело на голой земле, частично прикрытое ветками, и не подает никаких признаков жизни.

Вот и я недоумеваю, как Вера могла написать это письмо, если ее уже давно нет в живых.

С этим недоумением я возвращаюсь в комнату и еще довольно долго не могу от него избавиться.

Мечусь, подхожу к окну, слушаю, как Сова сопит во сне и, скорее всего, улыбается, потому что ему снится, будто он купается в море.

Нет, он никогда не был на море и не умеет плавать, но поскольку я ему часто рассказывал о том, как нырял с волнолома в теплую зеленую воду, то он вполне мог представить себе подобную картину, но только по-своему.

Например, вот так: Сова встает с кровати и полностью принимает образ острия копья. Мышцы его окаменели. Из-за напряжения ноги его словно бы спутаны, потому он не может сделать и шагу, но лишь имеет возможность тянуться ввысь.

Тянется-тянется.

Потом задерживает дыхание и через мгновение летит в воду.

Ему только и остается удивляться, что его кровать оказалась на самом берегу моря, а он никогда раньше не замечал этого, не слышал штормового гудения волн, не ощущал хриплого свиста ветра, не чувствовал запаха бродячей кладофоры, напоминающей зеленую тину. И вот теперь он летит над этой тиной, а его тень задевает придонные кущи, которые оживают с каждым новым вздохом прибоя.

Острие копья входит в воду, не оставляя за собой брызг.

Сова падает в воду и сразу уходит на глубину, где открывает глаза. Судорога, сковавшая было его тело, тут же отпускает, и он перестает быть острием копья.

Он нелепо перебирает руками, улыбается, пьет теплую соленую воду, с удивлением обнаруживает, что несколько не испугался, оказавшись в непривычной для себя обстановке, оглядывается по сторонам и замечает проплывающего мимо него Морозова, правая нога которого перебинтована расплывшимся нечистым бинтом. Видно, что бинт размок, вздулся и пошел волдырями, подобными тем, что выступают на коже после ожога.

Рыбина болталась на прибое.

Рыбина вздулась.

Рыбина, перепутанная водорослями, проплывала брюхом вверх.

Рыбина не тонула.



— Ты — предатель, Морозов, — насупливался лбом Сова. — Ты обещал, что никому не скажешь, что я делаю под партией, но не сдержал слова, гад, поэтому я тебя и укусил.

Однако человекообразная рыбина молчала в ответ.

Морозов проплыл мимо, показывал язык и вертел пальцем у виска, мол, «псих ты, Сова».

— Сам ты псих...

Затем Сова выбирается из воды на раскаленный солнцем рябой бетон волнолома, который расцвечен махровыми полотенцами, полосатыми покрывалами и пятнистой одеждой в разводах, располагается здесь, щурится на солнце и с удивлением обнаруживает себя лежащим в кровати, освещенным матовыми сполохами зимнего рассвета, что пробирается сквозь откинутую занавеску.

Оглядывается по сторонам, прислушивается к себе, но не обнаруживает и следа от вчерашнего припадка.

— Значит, я здоров совершенно! — давится от удушающе раскатистого крика. — Ура!

Каникулы пролетели незаметно, и через несколько дней мы стали собираться с Совой обратно в интернат.

Теперь я уже и не вспомню последовательности событий, приведших нас под крытый шифером навес автостанции, откуда мы имели возможность наблюдать за тем, как автобус выворачивал с круга, раскачивался, перебираясь из одной заледневшей колеи в другую, упирался светом фар в кирпичную будку диспетчера и замирал.

— Надо ехать, — говорил я.

— Надо... — отвечал Сова и выпячивал нижнюю губу.

А еще можно было разглядеть водителя автобуса — на вид ему было не больше сорока, у него был острый птичий нос, сросшиеся на переносице брови и глубоко посаженные, едва видные из-под воспаленных век глаза.

«Неужели он что-то видит, особенно когда трет кулаком красные веки, которые и без того едва пропускают свет?» — удивлялся я.

А водитель тем временем включал свет в кабине, доставал блокнот и начинал что-то в нем записывать. Скорее всего, это был ежедневник, перелистывая который можно совершенным образом оживить воспоминания и события, произошедшие много лет назад.

В частности, такое воспоминание: тогда в райцентр возвращался уже затемно, пассажиров не было, об эту пору, середина ноября, в лесопоселках почти никого нет — сезонные рабочие уехали, а местные уже спят, — после кордона Улемль выбрался на большак, он тянется через бор километров десять, отчего дорога даже солнечным днем здесь кажется темной и мрачной, а что тут говорить про сумерки поздней осени, как назло пошел мелкий дождь вперемешку со снегом, потому поехал совсем медленно, чтобы на повороте у Егорина оврага не сползти по глине на обочину; в прошлом году тут лесовоз перевернулся, его тракторами несколько дней тащили пока не вытащили, включил дальний свет, темнота сразу же вспыхнула мокрыми стволами и надвинулась на лобовое стекло, показалось, что въехал в какое-то подземелье, а тут еще мокрый снег усилился и принялся швырять огромными косматыми хлопьями, странно, столько раз здесь ездил, но абсолютно не узнавал эту местность, она была совершенно незнакомой, населенной острыми, как языки пламени, теньями и птицами, свесившимися с веток головами вниз, бывает же такое, вот совы гукают и вращают головами; когда выехал из поворота на прямой участок, выключил дальний свет и проследовал таким образом метров сто, а на смену

нездешнему сиянию пришел блёклый морок, он как бы придавил к дороге, раздвинул деревья, а потом произошло то, что произошло: только и успел заметить в правое боковое зеркало женщину, которая беспомощно размахивала руками и валилась под задние колеса автобуса, тут же дал по тормозам, но автобус еще протащило несколько метров, и все замерло в дрожащем свете фар, потом выбежал, поднял ее, она оказалась жива, и отвез в больницу в райцентр, с ней, слава Богу, все оказалось в порядке...

Потом водитель отложил свой ежедневник, повернул голову, почти достав подбородком до плеча, и проговорил:

— Отправляемся, двери закрываются.

А Сова уже сидел у окна и, как всегда, проделывал пальцем в инее глазок, чтобы смотреть сквозь него на смутные очертания домов, уличных фонарей, засыпанные снегом гаражи и дровяные сараи. Заглядывал в эту прорубь, которую принято еще называть иорданью, замирал от удовольствия, вертел головой в разные стороны, гукал, но так как в автобусе почти никого не было, то на все эти его художества никто особого внимания не обращал.

Домой я вернулся далеко за полночь.

Вошел в подъезд, проверил почтовый ящик.

Пустой.

Усмехнулся: «Значит, все прежние мои страхи оказались напрасными и прошли бесследно, как в той песенке поется: “Ах, мой милый Августин, всё прошло, всё”, а еще выходит, что ключ тогда зря выбросил, только деньги попусту на новый замок истратил, эх...»

\* \* \*

Через несколько лет интернат, в котором жил Сова, перевели в другой город, и он перестал приезжать ко мне гостить на зимние каникулы. Какое-то время от него еще приходили письма, но со временем всё реже и реже.

Я хорошо запомнил его последнее письмо, в котором мальчик рассказал о том, что их класс возили на море и он чуть не утонул, потому что не умел плавать. Впрочем, обошлось, но приторный вкус соленой воды, как и солоноватый дух эфедрина, который ему накануне в нос закапала медсестра, еще долго преследовал его.

То письмо я прочитал прямо в подъезде, не отходя от почтового ящика.

После чего повернулся назад и посмотрел, нет ли кого у меня за спиной, ведь почудился же мне нестройный хор голосов, гуканье птиц почудилось, перекличка лисиц, что сродни скрипу деревьев, которые переплелись стволами и корнями с самого своего рождения.

Но нет, слава Богу, за спиной никого не было, следовательно, подумать о том, что Сова — это я и есть, было просто некому.